



Татьяна Тихонова

Иллюстрация Сергея Дергачева

Глаза-окна

Старик шел по коридору, расплескивая чай. Придерживал стакан, качающийся в подстаканнике. «Теперь не делают такие стаканы, как раньше. Нет, не делают. Подстаканник есть, а стакана нет. Эх, жизнь пошла».

Длинный коридор коммунальной квартиры тянулся в темноту. Лампа возле его двери давно перегорела. «Конечно, ее никто мне не заменит. Надо собираться в магазин. А это чертова лестница. Две. Нет, даже три. Кто нынче вспомнит, что ступеньки тоже растут. Они с каждым годом все круче, вырастают прямо под ногами. Нет, отвратительные нынче пошли ступеньки. То ли дело раньше. Их было в два раза меньше».

Он вошел в свою комнату. Вещи громоздились вокруг горами — ящики, шкафы, стол. На столе четыре узла, старик не помнил, с чем. От ящика стола смердило. Наверное, сдохла крыса, но не добраться туда никак. Пусть себе покоится с миром тварь. Он ее знал. Она приходила к нему к ужину. Сидела напротив, скрестив лапы на животе, поднималась и вынюхивала, что он ест. Получала кусок и уходила. Он давно ее уже не видел. Старик лег на ветхий, продавленный диван возле окна.

Из шкафа по левой стене вышел он сам, молодой. Старик с тоской впился глазами в это лицо, самоуверенное и родное. Парень присел на табуретку и прикурнул, разогнал дым рукой. Положил ногу на ногу, качнул ногой в туфле на толстой платформе. Тряхнул длинной черной гривой.

— А я в прошлый раз дверь не смог открыть, — сказал старик, рассмеявшись заискивающе. — Думал, что сломалась штукавина. Это я, Володя, на свалке, что за городом, у завода нашел. Стоит себе шкаф. Ну, думаю, в хозяйстве пригодится. Насилу выкопал, в землю гад врос. Еле до дома доставил, пришлось трешник Сергеевичу отдать. Чего ты как битник вырядился-то? В нашей семье гусары были, офицеры. А ты... и-э-э-эх.

— Я припер дверь-то, Владимир Алексеевич, с той стороны, — парень усмехнулся, — а то зачастил ты. Я прямо в депрессию впал. Ну как ты думаешь, себя, девяностолетнего, каково каждый день перед собой видеть?

— Ишь ты, «припер»! Я, может, в детство впасть желаю безвозвратно, а ты, значит, припер.

— Ты в детство впадешь, а мне что делать, подумал?

— А чего мне про тебя думать? Сам о себе думай, Володя. Мне бы вот лампу. Спроси у Катеньки. У нее всегда в запасе были. А мне идти не вмоготу.

— Спрошу, отчего не спросить. Ну, бывай, Владимир Алексеевич. Повидались.

— Бывай, Володя. Даже чаю старику не принес в гостинец, порадовать. Недалеко здесь. Совсем ты меня не любишь.

— Сам ты себя не любишь.

Парень вошел в шкаф и закрыл за собой дверь.

Старик скрестил руки на груди. Улыбнулся девушке, смотревшей на него с тусклого рисунка. Сказал, привычно обращаясь к портрету:

— Приревновал Володька, Катенька. Как есть приревновал. Разве ж мог я спокойно смотреть, как ты в спальню с ним уходишь. Потом он тебе что-то шепчет, ты, слышу, улыбаешься. Ему улыбаешься. А то ведь я, я, Катенька. Увидел он как-то, как я на тебя смотрю, вот и припер дверь за мной. Как я за эти годы стосковался. Я скучал. Ну зачем ты к Протасову, хомяку этому, ушла от меня? Все тебе комнатка наша не нравилась. Комнатка как комнатка. Ну а теперь-то я и сам не хочу. Зачем мне тебя старухой видеть. Это как лестницы старые. Видеть их не могу. Не взобраться, не спуститься. И щербатые, тоска одна.

Старик закрыл глаза. Вздогнул нехорошо, вскинулся с хрипом и застонал. За грудь схватился. Застучал быстро-быстро кулаком в стенку.

— Синусоида Арнольдовна... Зинаида... — захрипел, — Зинка, помирая я однако... Зинка...

Его тускнеющие глаза уставились на дверь. «Худющая, как галка... черная, как палка... Зиночка... только приди... все прощу», — выл он безгласно.

Зинаида вошла, кутаясь в пуховую шаль, посмотрела на соседа поверх очков в роговой оправе. Глаза ее тревожно метнулись по его беспомощной фигуре, растопырившейся нелепо на диване, по руке, прижатой к сердцу. Соседка быстро развернулась и вышла, тут же раздался ее изумительно поставленный учительский ор на всю коммунальную квартиру:

— А я вам говорю, инфаркт обширный, сударыня. Молоды вы еще мне замечания о тоне делать. Пульса нет. Посинел. Вы у меня под суд пойдете, если больной преставится. Засекаю время. Прошлый раз три часа ждали «скорую». А? Мы-то дождалась, бабуля вот не дождалась. Какая-какая, к которой вы ехали, курица вы этакая, совсем нечем вам думать, бедная вы моя, соболезную, два плюс два сложить не можете...

Катя потянулась и проснулась. Солнце рассыпало блики по комнате, по лицу Володи. Катя улыбнулась и отвела пальцем его длинную челку. «Хиппи. Владимира Алексеевича на тебя нет».

Володя проснулся. Погладил Катю по плечу, ткнулся сонно губами в шею, в ухо. Она тихо засмеялась.

Открылась дверь шкафа. Вошел подпоручик Каменецкий-старший тридцати трех лет от роду. Погиб впоследствии в бедности в Турции. Сын Владимир забрел как-то случайно в тринадцатый год прошлого столетия в поисках родного дома. Долго перебирал при свете свечи оплавленные кнопки на панели в шкафу, нажал. Ничего не произошло, кажется. Только он оказался вместе со шкафом прямо на сухом пригорке посреди весенней распутицы в их деревеньке на Псковщине, где он и родился у маменьки в двадцать пятом, а отец уж полгода как на чужбине к тому историческому моменту сгинул.

Встретил там отца. Потом сидели на кухне у молодого Владимира и Катеньки. Отец все крестился, глядя на них троих, никак не мог поверить, что в сорок пять у него родится сын Владимир. Ходил вокруг шкафа, разглядывая его с опаской. Когда же пришло время уходить, сплюнул через плечо, сказал: «Бог не выдаст, свинья не съест». — И шагнул в шкаф.

С тех пор он захаживал часто. Но сидел у молодого сына недолго и с таинственным и независимым выражением на лице, будто повторяя про себя заветное «Бог не выдаст, свинья не съест», исчезал в темном коридоре коммунальной квартиры.

Вот и сейчас он быстро прошел мимо попытавшихся нырнуть под одеяло молодых. Торопливо отвел взгляд. Прошел строевым за ширму, целомудренно отделявшую шкаф и кровать от стола. Сел к столу, спиной к молодым. Налил себе воды в стакан. Снял фуражку, расстегнул мундир. Подумал с досадой, что слышит эту возню за ширмой. Разозлился, что сидит и слушает ее. Выпил залпом воды, отведя локоть и выдохнув. Смущенно сказал:

— Давно бы шкаф этот из-за ширмы вытащил, Владимир. Право. Я ведь вам двадцать минут из этой прорвы стучал. Все кулаки и эфес сбил. И плюнул. Прикажи половому чаю подать. Хотя что это я, какой половой нынче. Владимир, я к тебе по срочному делу. Изволь не задерживать меня.

Владимир надел джинсы, вышел босой из-за ширмы. Сын и отец Каменецкие оказались друг против друга. У одного в тридцать три виски сединой тронуты, взгляд усталый, с насмешливым прищуром, у другого в тридцать — глаза злые, быстрые, нагловатые. Но похожи, похожи, хоть и «отрастил Володя эти патлы неумные, что за глупость», как думал иногда Алексей Петрович об этих странных обстоятельствах и сыне.

— По делу или так, отец? — хмуро спросил сын.

— По делу, по делу, — рассеянно ответил Алексей Петрович. — Малевский просит по дружбе старой еще табаку немецкого. Ротмистр Чащин бритву... право, я эти новомодные названия не запоминаю, друг мой. Лекарства, вот список. Это главное. побыстрее бы, дифтерия у Машеньки, друзья семьи, Рощины... да ты уже знаешь.

Владимир рассмеялся. Кивнул.

— Как же ты объясняешь, отец, где берешь все это?

— А говорю, что из Франции с оказией привозят. Верят! Что Владимир, наш свет, Алексеевич? Как поживает? Опустился старик, нехорошо. Давно не бывал у него. Да и не хочется. Но пусть будет здоров, передай ему мое отцово благословение, все за ним держимся.

— Изольда заходила, принесла тебе галстук. Я его себе забрал. Больно хорош, Изольда в этом понимает. На дуэль не вызовешь? — неуверенно рассмеялся Владимир. — А Малевский, смотрю, дружбу старую тебе поминает. Платить, значит, не хочет.

Отец нахмурился. С одной стороны, ему не нравился этот нахальный, неподобающий тон, с другой — его тянуло быстрее покончить с этим. А Владимир с хрустом зевнул и крикнул Катеньке:

— Неси на стол покушать, Катерина!

— Сам возьми. — Катя чем-то там гремела в спальне, выражая свое недовольство ранним гостем.

Да сколько можно — ходят, как к себе домой. Проклятый шкаф. Давно его на помойку утащить надо. Катенька с грохотом переставила стул. Села на кровать. Сбросила с прикроватной тумбочки свою любимую чайную чашку королевского фарфора. Чашка — вдребезги. «Подпоручик новую подарит, к Восьмому марта, праздники здешние он уже знает».

В открывшуюся вдруг дверь шкафа подул нездешним сквозняком. Катя уставилась в черную щель. Потом вскочила и выбежала из-за ширмы.

Подпоручик сидел сам не свой. Владимир вздрогнул и стал падать, вцепившись судорожно в край стола. Катенька запричитала:

— Вот дурак-то, вот дурак старый, завистник! Молодым завидовать, дурачина! Ты чего это удумал опять помирать?! — заторопилась она в шкаф.

Вышла из него, деловито поправляя на располневшей фигуре платье, которого стало не хватать; старея на глазах, покрываясь на ходу добрыми мелкими морщинками; голова ее седела, волосы убирались в гулечку, зуба одного впереди не хватало.

— Поме-е-ер. Ой, зачем же, Володечка, ты помер... — Она бросилась на грудь Владимиру Алексеевичу.

Зинаида стояла у окна, скрестив руки на груди.

— Страсти египетские, — пробормотала она, отворачиваясь, — да не помер еще.

Посмотрела на часы и в окно. Из «скорой» вытащили носилки. Санитар с врачом рысью скрылись в подъезде. Зинаида поморщилась. «Надо же, бегут. Когда такое было...»

Человек шел по улице, рассматривая старые дома, дворы, заросшие цветущими деревьями, сильно пахнущим кустарником. С деревьев ползли клочья белой ваты-пуха. Клочья катились по дороге, сматываясь в длинные клубки, взлетая в воздух вслед за проехавшей машиной. Бродячие животные — большое, с обрубленным

хвостом и маленькое, с длинным непропорциональным туловищем — проследовали мимо к баку с мусором. Человек покачал головой. Неразумно, мусорно, непропорционально как-то все.

Однако смотрящий за ним не давал ему особенно задумываться, гнал дальше, потому что торопили его самого. И человек терял нить, его мысли перебивались хором за ним смотрящих.

Люди проходили мимо, с интересом разглядывая прохожего. Здесь все знали друг друга. А он разглядывал их. И удивлялся. Ему казались необыкновенными глаза этих «землян», как они себя называли. В этих глазах не было за ними смотрящего, не было смотрящего за смотрящим. Глаза землян были будто сами по себе. Будто окна в их домах. Разные. В одних даже днем непонятно зачем горел свет. Другие плотно закрыты, и не видно, что происходит за ними. Горшки с цветами, стопки книг, уют, настольная лампа, лицо...

Смотрящий за ним выругался и отключил наблюдателя. Долг и смотрящий за смотрящим требовали от него найти и забрать с собой объект. Всего лишь детскую игрушку с Виеры, ящик путешествий, или коротко — Фусорию.

Один из путешественников и оставил Фусорию на Земле. Прямо вместе с кабинкой путешественника и оставил, решив отправиться со своим другом совсем в другую сторону и пересев к нему.

Компания с Виеры долго искала дорогостоящее оборудование, потом терпеливо выплачивала неустойки за нарушение статуса несуществующего на малоразвитых планетах. И все еще выплачивает. «А кто-то может в зоне забвения оказаться!» — выругался на виерском человек.

Он остановился. Черниговская, тридцать четыре. Обычный дом, один из многих на этой улице. Старый, с потрескавшейся штукатуркой. Объект обнаружили здесь.

Сколько было потрачено времени на поиски. Сколько виновных отправлено в зону забвения. Триста лет в анабиозе! Осталось забрать оборудование и исчезнуть, чтобы не оказаться там самому...

Человек вошел в дом.

Владимир Алексеевич втянул хрипло воздух. Открыл глаза. Его Катенька сидела рядом. Держала за руку. Он шевельнул большим пальцем, погладив ее мягкую руку.

— Еще поживем, значит, Катенька. Опять ты меня с того света вытащила. Иду я себе и уже не думаю даже оборачиваться. Надоело все, Катя. А тут ты со своим «зачем же, Володечка, ты помер». Подумал я и вернулся.

Катерина Ивановна гладила и гладила его руку. Кивала и смахивала слезы, теряющиеся в морщинках. И приговаривала:

— А поживем еще, Володечка. Поживем. Сколько отпущено, столько и поживем. А как, Володечка, это уже наше с тобой дело.

— Я там тебя не сильно обижаю? — строго спросил Владимир Алексеевич.

Редко он так себя называл. С собой. Все казалось ему Володя не таким, каким он сам был тогда. А сейчас отмяк, в Катиных руках отогрелся.

— Да все ничего, Володя, только что же вы с Алексеем Петровичем все ходите к нам, — засмеялась тихонько Катерина Ивановна, — пугаете.

— Так это от любви, Катя. А Володя за мной дверь припер, паразит!

— Ну-ну, не волнуйся, тебе нельзя. — Катя улыбалась; припереть дверь посоветовала она сама. — Жизнь такая, Володя, она всегда нас чем-нибудь, да припрет, — проговорила она, покачиваясь задумчиво, сидя возле дивана.

Владимир Алексеевич закрыл глаза и задремал. Голос жены убаюкивал. А когда проснулся, ее уже не было.

— Ушла Катерина Ивановна, — сказала хорошо поставленным голосом Зинаида, — только ты глаза, Владимир Алексеевич, прикрыл, она и ушла. Ну, заголяй ягодицу, укол ставить будем в правую верхнюю четверть.

Владимир Алексеевич закряхтел, поворачиваясь на бок.

— Чем же я с тобой расплачиваться буду, Зинаида? — усмехнулся он в стенку дивана. — А пошли в кино, Зинаида Арнольдовна.

— А пошли, Владимир Алексеевич. На «Покровские ворота». Ты обещал.

— Раз обещал, значит, обещал. Так вот почему я не сдох: обещал же. Тьфу ты... Только ты никому!

— Никому!

Изольда жила в соседней комнате. Комната узкая и темная от тополей, вытянувшихся в рост с домом, всегда была затянута сигаретным дымом и ароматом кофе. Изольда работала в больнице, часто дежурила по ночам. Потом приходила домой, «в свою нору», и долго не появлялась вообще. Крутила винилы и танцевала иногда, уставившись в окно.

Антилопа Карловна, или Пенелопа Карловна и по совместительству старшая по подъезду, поджимала обиженно губы. «Нахалка. Вечно с голыми коленками, патлы распустит... тридцать лет бабе...» Вслух же она говорила:

— Изольдушка, совсем вы себя не щадите. Чуть ли не каждый день дежурите. Вам бы замуж выйти, ребеночка родить. А вы смолите эти сигарки, как мужик, ей-богу. — И, понизив таинственно голос, добавляла: — Я хотела вас просить записать меня к Аркадию Павловичу.

Изольда кивала, наливала воды в турку, ставила на огонь, варила кофе. Вот и сейчас она плыла по коридору с туркой в руке. Тень шагнула к ней:

— Збля, как же я соскучился.

— Подпоручик, с ума сойти, вы ли, здесь ли? — протянула Изольда, улыбаясь растерянно, открывая ногой дверь.

Подпоручик завел ее в комнату, оглядываясь в сумрачный коридор. Отобрал турку и поставил ее на стол. Пошел на Изольду, улыбаясь, снимая мундир, и она пятилась, улыбаясь. В открытое окно летел тополиный пух. Он был везде, катился пуховыми валиками по полу.

Алексей чихнул.

— Зола, ты все такая же лентяйка, — прошептал он ей в ухо, — у меня же аллергия.

— А ты все такой же зануда, Алекс, — ответила она, улыбаясь, — будь выше какого-то пуха.

— Изольдушка, — сунулась Антилопа Карловна в дверь, — у вас нет соли?

Ну, конечно, у нее мужик. Недаром показалось, что мужская тень шмыгнула в соседнюю комнату. Алексей запустил думочкой в олених в голову соседки, просушившуюся в дверь.

— Занято! — крикнул он.

— Ты, подпоручик, как в номерах, — обиженно сказала потом Изольда, — «занято».

Она села, привалившись к спинке дивана, положив на подпоручика длинные ноги. Они белели в сумраке комнаты, белела шея и грудь в расстегнутом старом батнике. Тень падала на лицо Изольды. Время будто повернулось вспять. Последний курс гимназии, лето, тополиный пух и экзамены. Как же звали ту девочку... Она так похожа на Золу...

Изольда улыбалась, и Алексей умиротворенно чихнул. Уходить не хотелось. Там все так зыбко, так все теперь известно для него наперед, что он каждый раз возвращался обратно с тяжелым сердцем, к милой Полине, которая будет убита в семнадцатом на Петроградской площади в очереди за хлебом. К друзьям, из которых доживет до своей смерти дома, в своей постели и в окружении детей, только Малевский.

Алексей опять чихнул, потянулся и сел, поднял сброшенный мундир.

— Опять исчезнешь, — сказала, отвернувшись, Изольда.

— Ты никогда не спрашивала куда.

— Зачем? Ты ведь уходишь от меня. Что толку знать куда.

— Наверное, ты права.

И он никогда ничего не спрашивал. Переговорено было многое, рассказано и пересказано. Много выпито кофе, вышептано слов, выкрикнуто ругательств и проклятий, выплакано слез и выкурено сигарет. Теперь они больше молчали. Но его вновь и вновь тянуло сюда. В тополиный пух, катившийся валиками по полу. В тишину и заброшенность. В этот шкаф. Они перемещались в него и из него. Такие разные и такие похожие, потому что не старились. Но будто все равно умирали вместе со стариком, притащившим шкаф со свалки за городом. Все когда-то умирают. Вернее, умирал-то только один из них и тащил их всех за собой. Но вот уже в который раз ему удалось чудом зацепиться за этот маленький мир с потрескавшимся асфальтом,

старыми домами, коммунальной квартирой, со старыми скрипучими половицами.

Антилопа Карловна варила кислые щи и напевала при этом тоненьким голосом «Гори, гори, моя звезда». Она уже видела не так хорошо, замечала не все и не про всех и поэтому сейчас отрешенно уставилась в окно. Пух катился по подоконнику. Старушка улыбнулась. Собрала пух ладонью и бросила в мусорное ведро.

— Была бы жива Изольдушка, она бы меня сводила к Аркадию Павловичу. А теперь никому я не нужна, Савелий, иди ко мне, кис-кис.

Тощий соседский Савелий на табуретке не повел и ухом.

— И тебе не нужна, — потрепала его по загривку Антилопа Карловна.

Звонок в дверь к соседу оторвал ее от щей, котла и окна. Она нахмурилась. Сосед не откроет. Нет, не откроет. Ну как он откроет, если вчера была «скорая». Даже если может открыть, Володька не пойдет...

Антилопа Карловна поджала губы и пошла к двери. На лестничной клетке стоял незнакомый мужчина. Старушка озадаченно на него посмотрела. К Володьке уже сто лет никто не приходил. К тому же тип походил сразу на энкавэдэшника, клоуна из репризы «Солнце в авоське» и на бухгалтера из их жилищной конторы. На энкавэдэшника — кожаным плащом до полу. Клоунской была улыбка, будто пририсованная к его рубленому, грубому лицу. А этот нос, тонкий как шило, — такой же был у их бухгалтера. Точно из конторы. Она вздрогнула, когда тип переспросил:

— Владимир Алексеевич Каменецкий дома?

— Да куда он денется, Владимир этот, конечно, дома. — Она приветливо посторонилась и ушла на кухню проверить щи. Вспомнила, что хотела купить сметаны. Почему-то совсем забыла, что пустила чужого человека в квартиру.

Человек уже постучал в дверь к Каменецкому. Слышно было, как сосед крикнул:

— Заходи, коль не шутишь!

Гость вошел.

Гость оказался Владимиру Алексеевичу похожим на фотографию с Черного моря, когда ты в купальных плавках и с удочкой и смотришь с обратной стороны в прорезь фанерного макета. Владимир Алексеевич отвел глаза от этого странного лица. «Лицо как лицо, что к мужику привязался... Ну и что, что будто матрешке глаза прорезали и в них смотрит другая матрешка... Дурак ты, Владимир Алексеевич. Что тебе, своих проблем мало? Зачем ты к человеку придираешься».

Гость представился работником Академии наук, махнул перед носом растерявшегося Владимира Алексеевича красным удостоверением, умело, словно фокусник, обвел им вокруг протянутой неуверенно

руки. Голос гостя был тихий и отчетливый, как если бы диктору программы «Время» убавили звук.

— На городскую свалку номер пятьсот тридцать четыре...

— Хосподи, я и не знал, что их столько.

— ...было выброшено по ошибке оборудование.

— Конечно, по ошибке, там все по ошибке, — хотнул растерянно Владимир Алексеевич.

— Но теперь выяснилось, что это была ошибка. И оборудование требуется вернуть.

— А я вам, что Пушкин, что ли, откуда мне знать, где ваше оборудование.

— По расспросам очевидцев, — продолжал бубнить из прорезей глаз и рта гостя диктор программы «Время», — мы выяснили, что вы работали на той свалке.

— С ума сойти. Я работал. Так это что, про ту свалку, что за городом?

— Вы могли видеть это оборудование.

— Да какое оборудование? — воздел руки к давно не беленому потолку Владимир Алексеевич.

— Вот это. — Рука гостя развернулась под углом девяносто градусов.

Владимир Алексеевич подумал, что ему что-то очень не нравится в этой руке. Точно, не нравится. Он покрутил головой. На ладони не было линий: гладкая, будто в перчатке. «Да ладно, — сказал себе он, — ты придираешься к человеку. Может, у него операция была... э-э-э... по пересадке кожи. А у нас это делают? Или это протез. Точно, протез». Ему полегчало. Он вспомнил, что гость ждет ответа. Тот и правда ждал.

— Э-э, где оно ваше оборудование, забирайте его к чертовой матери, что мне жалко, что ли. Для науки.

Гость подошел к шкафу. Владимир Алексеевич, сам не зная почему, вдруг испугался, стал тяжело подниматься с дивана. «Катенька... Как же так... Зола...»

— Володька! Где ты?! Никогда нет тебя, паршивца, когда надо... — прохрипел он вслух. — Да что же это такое, граждане! Помогите! Имуущества лишают! — Владимир Алексеевич, присогнувшись, доковылял до шкафа, перед которым гость остановился. — Нет-нет, — проговорил Владимир Алексеевич, заглядывая матрешке в глаза, но матрешка молчала.

Гость открыл шкаф, не обращая на старика внимания. Сказал что-то кому-то на непонятном языке.

— Ты это... ты с кем это разговариваешь? — спросил у фанерного макета Владимир Алексеевич. — Я не разрешаю, слышишь, скажи это им! — Он топнул ногой в старой тапке.

Гость не смотрел на него. А во Владимире Алексеевиче задрожала неведомая струнка, волосинка, она будто зацепилась где-то в нутре, ближе к кишкам. Тянула больно так, ноюще.

«Это что же, он сейчас шкаф-то унесет. Нет, как можно».

Владимир Алексеевич принялся растерянно искать топор. У каждого уважающего себя одинокого чело-

века должен быть топор. Под подушкой. Но топора на месте не оказалось.

Гость вошел в шкаф. Владимир Алексеевич, на цыпочках, потянулся и заглянул ему через плечо. Гость стоял перед небольшой панелью. Она всегда напоминала Владимиру Алексеевичу панель в лифте. И кнопки так же оплавлены. Гость что-то кому-то опять сказал. Владимир Алексеевич изловчился и вновь очень просительно посмотрел в глаза фанерному макету. А там все та же матрешка. Младшая, которая не может укачивать старшей. Стало вдруг жаль его. Или ее.

«Мил человек, как тебе тошно, должно быть, мозги-то совсем набекрень. Но и я-то, меня пойми ты!» — взвыл он нутром, видя, как заиграл огоньками, поплыл радужными разводами шкаф изнутри. Обгоревший и с потрескавшейся обшивкой, он казался сейчас новогодней елкой, сгоревшей на свалке и по прихоти чудака увешанной внезапно игрушками.

Топор нашелся. Владимир Алексеевич забыл, что разбивал им сухарь третьего дня. Топор и лежал на столе. Возле сухаря. И крыса не пришла.

«На смертоубийство толкают, на смертоубийство».

Владимир Алексеевич заплакал. Ухватил топор, повернулся, засеменял к гостю. Замахнулся что было сил. За шкаф. За Катеньку, за Золу, за отца, за счастье его нечаянное...

Шкаф закрылся. Из-под него вырвался огонь. Задрожало марево. «Так бывает в жаркий день, в степи, а ковыль гнется к земле, ластится», — подумал Владимир Алексеевич, опуская топор, не замечая, что руки и колени дрожат. И шкаф исчез, оставив большую плешину с ровной границей, отмеченной толстым плотным гребешком грязи.

Владимир Алексеевич шел по коридору. стакан дребезжал в подстаканнике.

Войдя в свою комнату, поставил стакан на пол возле дивана. «Вдруг попить захочется. Говорят, хочется всегда». Лег на диван. «Нет, не хочется». И помер.

Зинаида Арнольдовна заглянула на следующее утро к соседу. Закрыла ему глаза.

— Страсти египетские, — сказала она.

И пошла вызывать труповозку, полицию, «скорую».

— Сударыня, засекаю время. Если вы не приедете через час, трупа будет два, — заявила она изумительно поставленным голосом. Только один раз челюсть ее принялась дрожать, зубы застучали, но она очень тихо сказала: «Ничего-ничего, Володя, я сейчас соберусь», — и набрала следующий номер.